



ЮРИЙ ЛОЩИЦ

## В СЕРДЦАХ

### ТАМ, ЗА ЗАБОРАМИ...

Соотечественники старшего поколения, возможно, вы ещё помните слова из “запретной” в шестидесятых песенки: “Мы поехали за город, а за городом дожди, а за городом – заборы, за заборами – вожди”? Да, водилась у нас такая частушечка якобы от имени народа. Почему “запретная” взято в кавычки? Вовсе не потому, что за исполнение песенки преследовали автора и слушателей. Наоборот, песенка сама откровенно обслуживала вкусы тогдашних вождей, слегка щекотала их слух, уставший от официальной попсы. Записанная на здоровенные бобины “магов” первого поколения, она своим шелестением, простеньким гитарным перебряком, как бы слегка пропитым голосом модного барда создавала атмосферу дозированной *подзапретности*, шаловливой “слабоды”.

Прошли времена немалые, но если вы сегодня отправитесь за пределы мегаполиса, то обнаружите, что заборы тех вождей стыдливо и безнадежно затерялись в плотной чащобе оград нового поколения.

Про одну из них мне совсем недавно мимоездом сказали: “А эта оградка, знаешь, чья? Градского”. Похоже, хотели, чтоб легче запомнилось: ограда Градского. Я не стал озвучивать своё невежество, но про себя подумал, что, скорей всего, речь идёт об исполнителе песен, наделённом чрезвычайно пронзительным, прямо-таки сверлящим голосом.

За кирпичным, в три метра высоты, оплотом проплыла длинная, под багряную черепичку, крыша. Ни окна, ни двери с проезжей части не просматривались. Ни хозяин нас не видит, ни мы его. И как-то тихо-тихо, будто замерли там внутри, пережидая проезд неведомо чьего подозрительного “жигулёнка”.

Ну и ладно. Мы же не поклонники его воплений. Что нам Градский, что мы ему?

Но всё же занятно: тот бард-шестидесятник пребывал ещё вне заборов, чуть ли не поскуливал от зависти. А сей певец (если “оградка” действительно его) уже плотно упаковался в собственный краснокаменный кремлик, только что без курантов.

Впрочем, внешность его заборного сооружения почти мгновенно забылась, потому что мимо замелькали десятки иных див оградного художества. Через пять минут езды по улкам и просекам громадного дачного стойбища, в которое нас угораздило запороться где-то в окрестностях подмосковной Агрелевки, мы дружно согласились: мда, здешние заборы – подлинное искусство! Ей-ей, они достойны быть запечатлёнными на гламурных страницах увесистого фотоальбома. К примеру, под названием “Заборная архитектурная мысль времён возвратного капитализма в России”.

Судите сами: нам не встретилось ни одного оплота, который бы копировал уже виденные перед этим. Всяк был на свой пошиб. Один поднимал планку высоты до такого рекордного предела, что никакой прыгун с шестом не рискнул бы тут показывать свою ловкость. Соседний с этим заборище в высоте слегка уступал, зато устрашающе был утыкан во всю длину частыми-частыми копиями. Третий уснащали милые бойнички, из которых того и гляди прольются вниз струи кипятка или горячей смолы. А на той вон ограде поверху кудрявились самые настоящие противопехотные спирали... Что уж говорить о паразитическом разнообразии колонн, всяких там пилястр, надвратных карнизиков, розеток, набалдашничков, крышечек и прочих элементов забористого декора.

Догадываюсь, плотных дел мастера преследовали двоякую цель:

1. Улестить каждому отдельно взятому хозяину необщим выражением его заборного лица.

2. А кроме того, хоть как-то скрасить угрюмоватые перспективы дачного массива, где, сколько ни ходи, ни езд, не увидишь ни одного окна, ни одного фасада, а всё лишь заборы да кое-где коньки крыш.

Уже задним числом, вспоминая те чудные уголья, в которых, как говорят, обитают в мрачноватом заединстве не только звёзды эстрады и кинозвёзды, не только матёрые смехачи, развлекатели властей, “духовная” обслуга олигархов и современного, по определению Эдуарда Володина, российского охлоса, не только злоязыкие телеведущие – свергатели репутаций, но и, догадываюсь, те же самые зодчие суперзаборов и невидимых миру хором, – так вот, задним числом я и подумал: а никакой загадки ошеломляющей сокрытости их дачной житухи в общем-то и нет.

Они боятся.

Там, за их заборами, где рычат лютые сторожевые псы и по-псиному гавкают на неопознанный внешний голос охранники-мордвороты, там главный житель – ст р а х.

Потому что в липких снах мерещится им шествие людской орды. Она чёрной лохматой тучей наползает от каких-то подмосковных полуголодных посёлков. Шлёпают по асфальту стёсанными подошвами бывшие пролетарии и бывшие колхозницы, бывшие военные асы и бывшие афганские комбаты, учителя и медсёстры, беспризорные подростки, бомжи, тощие уличные девки... Охрана-обслуга на блок-постах скулящими какими-то голосами предупреждает: через четверть часа э т и прорвутся... Надежд на московскую ментуру уже никаких... А продержаться надо хотя бы час-другой, пока не подлетят натовские спецподразделения, запрошенные с ближайших к мегаполису баз... Ещё какое-то время можно переждать в подземных бункерах, где есть запасы кислорода, продуктов, аварийное энергоснабжение, душевые, клозеты, рулоны самой элитной туалетной бумаги, дезодоранты... С-т-р-р-р-аш... Ш-ш-ш, тише...

А что ещё кроме страха возмездия могло их загнать за циклопические заборы?

Они же прекрасно понимают, что паче меры постарались, чтобы обслужить воровской клан э т о й страны. Они из кожи вон лезли, чтобы скособоить жизненные инстинкты, до неузнаваемости переиначить социальные ориентиры сразу нескольких поколений народов России, в первую очередь русского народа. И потому они упорно старались не называть его ни народом, ни русским. Только “пипл”, как они зубоскалили сначала в своём узком кругу, а потом и с телеэкранов. “Пипл”, который, как они уверяли себя, “схавает всё”. А вот теперь они сидят взаперти, за заборищами и, давясь, хавают свой страх. И от них уже приванивает, несмотря на дезодоранты.

Большая обслуга правящего в стране режима. Точней сказать, **обслуга обслуги**, если начинать от псов, охранников, поваров, официантов, портняжек, маникюрщиц, массажисток, моделек, фабричных бенгальских звёздочек, а заканчивать футбольными и хоккейными легионерами, казначеями и казначейшами шоу-бизнеса, политическими вертунами-думцами и пр. пр. Потому что те, кто над ними, – тоже обслуга. Бездарная, по сути, обслуга всемирной закулисы, “богоподобного” Запада.

Жизнь – штука разнообразная, в том числе, временами, и страшная. Но чтобы уж до такой тотальной степени себя застращать неминуемой карой, как наши подмосковные заборники?! Это, уверяю вас, коли сами не видели, явление донныне небывалое.

А, впрочем, то ли ещё будет.

## ЕЩЕ О БЕДНОСТИ И БОГАТСТВЕ

*Поверьте, государь, терпел я долго  
Стыд горькой бедности. Когда б не крайность,  
Вы б жалобы моей не услышали.*

А. С. Пушкин. “Скупой рыцарь”

“Стыд горькой бедности”, о котором говорит у Пушкина юный рыцарь Альберт, – это, по нынешним временам, “ещё мягко сказано”. Как между лютой стужей и нестерпимым зноем, прогибается сегодня существо человека между проклятьями бедности и богатства. Бедность, обездоленность, отверженность отдельных людей или целых людских сообществ – в начале третьего тысячелетия по Рождестве Христовом – настолько вопиющи, что мы вправе усомниться в том, что Христос приходил именно к этому человечеству. А не к другому, которое истаяло, не дожив не только до российского капитализма, но и до ростовщических республик Венеции и Генуи.

Можно ли что хорошее сказать о бедности как таковой? Само слово подсказывает, что бедность – беда лютая, несчастье непереносимое, ущерб, позор и страдание. Епифаний Премудрый в житии преподобного Сергия Радонежского рассказывает, как оскорбился некий крестьянин, пришедший в Троицкий монастырь поглядеть на великого игумена, когда монахи указали ему на человека в залатанной ряске, который возится с овощами на огороде. Оскорбился, потому что и в то нищее время была, по его понятиям, неприлична бедность главы обители. Да зайти к нам сюда Сергей в той своей заскорузлой от солевого выпота рабочей ряске, в какое бы мы пришли смятение! Скорей всего, приняли бы его за бомжика или заплутавшего побирушку, которого по нынешним правилам не пускают не только в метро, но и на паперть или даже внутрь храмовой ограды.

Но разве не в такой же мере проклинается и презирается сегодня мир богатых? И не только со стороны, но и изнутри. Вспомним того же старика Барона из пушкинского “Скупого рыцаря”:

*Иль скажет сын,  
Что сердце у меня обросло мохом,  
Что я не знал желаний, что меня  
И совесть никогда не грызла, совесть,  
Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть,  
Незванный гость, докучный собеседник,  
Займодавец грубый, эта ведьма,  
От коей меркнет месяц и могилы  
Смущаются и мёртвых высылают?..*

Но заметим, и отец, и сын из “маленькой трагедии” Пушкина, несмотря на их западные имена и звания, всё же ведут себя как-то по-русски. Скупердя отца терзают угрызения совести. А сын обещает, что, как лишь дорвётся до отцовых кладовых, уж у него-то золото взаперти не залежится, загуляет он с ним на славу.

Это, конечно же, вполне по-нашему. Давайте вспомним хоть одного из самых известных отечественных богачей, чей капитал неуклонно прирастал бы на протяжении, ну, трёх-четырёх поколений? Ни одного не вспомним. Удивительное дело, но как-то за несколько сотен лет не завелось у нас своих Ротшильдов, своих Рокфеллеров. Чаще всего если не сам родитель, то уж сынок скопленное папашей скоренько профукивал. В крайнем случае, роль мота или щедрого раздаривателя брал на себя внук. Кому угодно, бывало, отстегнёт – социал-демократам, анархистам, бомбометателям. Будто поскорей норовит скинуть с себя ярмо и клеймо родового проклятья.

Конечно, далеко не все избавлялись от своих барышей с таким легкомыслием. Стоит перечитать сегодня великолепный очерк Ивана Шмелёва “Душа Москвы” – о русских купцах-благотворителях XIX – начала XX веков. То, что начинали люди, которых вспоминает Шмелёв, никак не назовёшь мелочной показной филантропией, процветавшей в ту же пору на Западе. Наши, если уж раскошеливались, то до упаду...

Не так давно московский священник, отвечая на вопрос корреспондента журнала “Родина” (№ 5, 2005) “Нуждается ли сегодняшняя Россия в религи-

озно-нравственном “оправдании богатства”?”, сказал следующее: “Признаюсь честно, я не вижу никакой необходимости религиозно-нравственного оправдания богатства. Внимательно читайте Священное Писание. В Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, говорится: “Хорошо богатство, в котором нет греха и зла, бедность в устах нечестивого”. “Что ещё можно к этому добавить?” – спрашивает священник.

А добавить бы нужно то, что Священное Писание – это ведь не только Ветхий завет, цитируемый здесь и далее богословствующим батюшкой. В Новом же завете ни у евангелистов, ни у апостолов мы о “хорошем богатстве” ничего почему-то не слышим. Наоборот, земное богатство всюду оценивается только отрицательно. В том числе и у апостола Павла, слова которого о “неисповедимом богатстве Христовом” и “преизобильном богатстве благодати” наш священник трактует совершенно навыворот, применяя их к земному богатству. А это грубо искажает мысль апостола, говорящего как раз о неземном, нематериальном, духовном содержании Христова богатства-благодати.

“Материальные богатство и бедность с нравственной точки зрения нейтральные категории”, – решительно внушает нам и себе батюшка. Но как же тогда быть с евангельскими заповедями Нагорной проповеди? Почему Христос, говоря о блаженстве нищих духом, плачущих, кротких, алчущих и жаждущих правды, в то же время предупреждает: “горе вам, богатым”, “горе вам, насыщенные ныне, яко взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне, яко възрыдаете и восплачете” (Лука 6: 24, 25)

Евангелисты Матфей, Марк и Лука приводят известный с тех пор каждому христианину, а в наши дни и каждому ученику воскресной школы разговор Иисуса Христа с неким его почитателем, который под конец беседы спрашивает, что нужно ещё ему сделать, чтобы последовать за Учителем. “Иди, – отвечает Иисус, – продаждь имение твое и даждь нищим: и имети имаша сокровище на небеси, и гряди вслед мене”. И мы знаем, что этот богатый человек отошёл от Христа в великой скорби и посрамлении, потому что не хватило у него доблести расстаться со своим стяжанием. Как знаем и сокрушительный по силе приговор земному богатству, вынесенный после этого разговора Сыном Божиим: “удобнее есть вельбуду сквозе иглы уши протити, неже богату в царствие небесное внити” (Матф. 19: 21–24).

Но поистине душераздирающее видение непреодолимой пропасти, отделяющей богатого от нищего, заключено в Христовой притче, которую воспроизводит евангелист Лука. Бог настолько строг и непреклонен, что не позволяет нищему Лазарю, после земных мучений упокоившемуся в райском лоне Авраама, спуститься на минутку в адскую пропасть и смоченным в воде пальцем прикоснуться к пылающему языку богача, который когда-то и крошки не дал со своего стола покрытому гнойными струпьями Лазарю. Такого сурового предупреждения нет больше во всём Новом завете. Вот уж поистине – Спас Ярое Око! И оглянемся с этой высоты на наш бескрайний российский “лазарет” ютящихся в подвалах, на чердаках, на гигантских пригородных свалках, в соседстве с бездомными псами, кошками, крысами и воронами. Как же далеко от нас до лона Авраамова!

И как далеко от этого оскорбительного “лазарета” до дышащего благополучием воззрения из книги Притчей царя Соломона: “За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь”. “Другими словами, – как комментирует Соломона наш московский священник, – добродетели важнее материального богатства, воспитание души важнее комфорта и услаждения плоти”. Спасибо батюшке за сие душеполезное назидание. Теперь-то будем знать, что услаждения плоти и комфорт тоже по-своему хорошая штука, нужно лишь прибавить к ним добродетели и “воспитание души”. И наступит полное благолепие. Столь полное, что уже не нужно будет нам беспокоить свою память картиной изгнания торгующих из храма или твёрдым определением Христа о несовместимости служения Богу и маммоне (на арамейском языке это слово означает именно богатство, земные блага).

Нет же, ни богатство, ни бедность никогда не станут нейтральными категориями с нравственной точки зрения, если только это нравственность православно-человека. “Не изменим ни вере, ни царю, хотя бы предлагали вы нам всего мира сокровища. Богатство всего мира не возьмем за свое крестное целование” – таков был ответ защитников Троице-Сергиева монастыря, терпевшего осаду от войск Сапеги и Лисовского. Вот какими образцами хри-

стианского поведения следовало бы батюшке вдохновляться самому и вдохновлять свою паству.

Намеренно не называю имени священника, выступившего на страницах “Родины” в спецвыпуске журнала, посвященном успехам капитализации России. Ведь сказанное им – не мнение частного лица. И не мнение группы священнослужителей-модернистов, решивших обнародовать своё новое видение жизненных реалий. Это мнение очень даже старое. Оно с достаточной откровенностью выражено в протестантской концепции земного обогащения, житейского преуспевания. В теологии протестантизма, с её очевидным ветхозаветническим уклоном, земное обогащение последовательно оценивается как заслуга и добродетель. Житейский успех человека в таком понимании подтверждает поощрение его предприимчивости, исходящее свыше. Как мы знаем, протестантизм и явился искажением изначальной этики христианства в угоду народившемуся “успешному” сословию эпохи капитализации.

Стоило ли отвлекаться на проходную журнальную публикацию? Думаю, да. Потому что за ней вполне обозначился в последние годы один опасный искус. Он православному миропониманию подброшен самим временем. Крупномасштабная практика отмыва изначальными нечистыми деньгами, как известно, не разбирает границ, профессиональных тонкостей. Слишком обильные “жертвы” вдруг просыпались, как из рога изобилия, в церковные кассы. Всегда ли, всем ли удавалось в горячем ознобе минувших лет трезвенно разобраться: какое приношение во благо, а какое может обернуться соблазном?

Что и говорить, нашей нищей, разграбленной и обескровленной предыдущим атеистическим строем русской церкви эта нежданно-негаданная денежная подпитка дала счастливую возможность в короткие сроки поднять из руин сотни храмов, десятки монастырских комплексов, тысячи часовен по всему лику страны, возвести и сотни новых церквей – в кирпиче или дереве, украсить их иконостасами, фресками, книгами, хоругвями, утварью, пением и колокольным звоном. Конечно, эти стремительные перемены были бы невозможны без широкого, часто совершенно бескорыстного участия в них миллионов верующих. Но и без великих по цифрам пожертвований они тоже были бы невозможны.

Хочу напомнить, с чего начиналось движение за восстановление храма Христа Спасителя. Оно начиналось с создания общественного Фонда, с инициативы русских писателей, поддержанной редакцией газеты “Литературная Россия”. С 1989 года в каждом её номере стали печатать списки первых жертвователей в копилку будущей всесоюзной (тогда ещё Союз существовал) стройки. Помню этих скромных до застенчивости людей, которые приносили в редакцию газеты, иногда в конвертиках, а чаще просто так, свои пятёрки, десятки, изредка сотни рублей. Да, закваской этой денежной опары, как всегда на Руси, стала лепта вдовицы. Но как всё вдруг прихотливо переслоилось в том замесе. Вдруг узнаём: молодой предприниматель из Сибири Валерий Неверов даёт Фонду целый миллион рублей. Я от редакции поехал в тесный кабинетик конторы его “Гермеса” в Москве. Напечатали большую беседу с ним. Я не скрыл от собеседника, что не разделяю его увлечённости герметическими знаниями. Ну, подумал про себя, кого не заносит в молодости. Ведь не на масонскую ложу даёт, не в какую-то гностическую секту, а на православный храм. И озаглавил беседу: “Верю Неверову”. Через год или полтора Неверов приносит в Фонд ещё пять миллионов. А ещё через год или два и он, и его стремительный “Гермес” вдруг куда-то исчезли. Тут ведь рыбины куда более резвые выскочили из воды. И где тот парень из Тюмени теперь? Вот вам – на тему о том, как русский человек не умеет или в глубине души не хочет надолго обогащаться.

Как-то хмурым холодным вечером я проходил по набережной Москвы-реки и у подъезда зала Церковных Соборов обратил внимание на какое-то странное для этого часа шевеление толпы. Сам подъезд не освещён, но перед ним – длинная вереница припаркованных иномарок, а подкатывают, слепя фарами, всё новые и новые. “Может, какой-то концерт?” – подумал я. Ведь бывают же иногда в подсобных помещениях храма Христа Спасителя, скажем так, мероприятия светского характера – фестивали телефильмов с православной тематикой, выставки художников, фотомастеров. Решил подойти поближе и поглядеть на афишу. У внешней оградки дорогу мне загородили два дюжих охранника. Потребовали предъявить билет. Я достал из кар-

мана писательское удостоверение: “Мне нужно лишь прочесть афишу... Что здесь сегодня?” В ответ услышал: “Какую ещё афишу? Нечего тут любопытствовать... Если и писатель. Не мешайте публике проходить”.

Лишь на следующий день удалось узнать, что в тот вечер зал Церковных Соборов был предоставлен версификатору Илье Резнику, а также поклонникам его песенных текстов, обильно сочиняемых для первой дамы российской попсы. Странно, подумал я, вроде бы такой человек не мог ни явно, ни тайно участвовать своими пожертвованиями в восстановлении храма Христа Спасителя. Слишком уж далеко содержание его текстов-побрякушек от многотрудной жизни верующих России. Или всё-таки дело решили деньги? Взял и выложил приличный куш администрации здания за свою прихоть. Чем не хохма (воспользуюсь любимым словечком этой шустрой публики): устроить поповый балаган именно здесь. Не в синагоге, а в православном храме, где его гастролей уж никак не ждали.

Это ли не искус для тех, кто разрешил? Это ли не обида для тех тысяч людей, что свою евангельскую лепту годами несли на воссоздание святыни?

Кто сегодня из нас, кроме преуспевающих академиков астрологических наук, решится очертить контуры даже ближайшего будущего страны? Надолго ли нас всех – и мирских людей, и духовного звания – снова в капитализм затянуло? Даже по западным оценкам новорожденный наш уродец слишком жирён, дебил и дебилист – уж второе десятилетие, как ходит под себя – и по большому, и по маленькому. От того, что игорные притоны разнесут, как обещано, по четырём углам России, опрятнее он не станет.

Оскорбительно всё же должно быть для православной души, что уже какое тысячелетие смертельное противостояние богатства и бедности остаётся неискоренимым проклятием человечества. Сколько великих умов билось над тем, чтобы это роковое противоречие упразднить раз и навсегда. Сколько пролило крови в бунтах, восстаниях, революциях, контрреволюциях, войнах идеологий и войнах животной зависти, сколько изгнуло миллионов жизней в спазмах голода, – и до сих не видно просвета. Скажут: но и социализм, как ни пытался, ничего не успел, никого не примирил, не усовестил, а ещё пуще распалил жажду наживы у одних, а у других – жажду отщепености. И она, эта жажда отщепености, вот-вот может прорваться сквозь гламурную плёночку иллюзорного благополучия. И если уж прорвётся, то тут подлинно разверзнется ещё невиданная кровавая пучина...

С кого тогда спрос? Нет, не с тех и других поровну. Вы сами знаете, сами видите сегодня, с кого будет спрос.

## КЛЕЙКИЕ ЛИСТОЧКИ

Впервые о них, клейких листочках, я вычитал когда-то у Достоевского – в его “Братьях Карамазовых”.

“Пусть я не верю в порядок вещей, – богоборствует, а в то же самое время исповедуется Иван в беседе-споре с младшим братом Алёшей, – но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо...”. И через короткое время снова о них вспоминает: “Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь...”. (Глава “Братья знакомятся” из Книги пятой PRO I CONTRA).

Казалось бы, мимолётный, но какой запоминающийся образ! Для многих-многих читателей листочки эти так и “приклеились” именно к Достоевскому, к его роману.

Но справедливости ради надо уточнить: Иван Карамазов, скорей всего, листочки не сам придумал, а взял у Пушкина, из стихотворения “Ещё дуют холодные ветры...”:

*... Скоро ль у кудрявой у берёзки  
Распустятся клейкие листочки...*

Впрочем, кто из нас ещё в детские свои годы, до знакомства и с Пушкиным и с Достоевским, не любил “клейкие листочки”? Кто из мальчишек и девчонок предвоенного или послевоенного поколений не любил “торопить

весну”? Чтобы её поторопить, надо было ещё в феврале или начале марта наломать на улице несколько тополиных нагих веток и дома, выпросив у старших порожнюю бутылку или банку, наполнить её водой чуть не доверху и сунуть туда свой принос. Кажется, уже через два-три часа, отогревшись на подоконнике, ветки начинали источать из крупных своих почек остренькое, кисленькое, будоражащее дух благовоние. Не успеешь надолго отвлечься, а почки уже набрякли, пустились, действительно, липкую коричневатую смолку. Уж не помню, на третий ли, на пятый ли день жёсткие, как длинные крыльца у каких-нибудь насекомых, почки лопались. Светло-зелёными острыми язычками являлись на свет первенцы, раздвигая больше ненужную твёрдую кожуру. Они-то, по мере ежесуточного прироста, и обнаруживали свою замечательную, даже на глаз ощутимую клейкость, какой не увидишь ни у берёзовых, ни у чьих ещё молодых листочков. Нет, тополь всех обгонял, всех нежной своей клейкостью превосходил, потому-то все мы его и предпочитали. А кроме того, он стремительно рос не только в лист, но и в корешки. Белые, шустрые, они в воде прыскали во все стороны, как бы образуя чистенькие бородки. И старшие учили нас, что, как земля отогреется, можно смело эти тополиные выводки пересаживать в неё. Тополь обязательно укрепитя, саженец не пропадёт, а на третий-четвёртый год превратится в деревце.

Они, наши старшие всяких возрастов, тоже в такую пору по-своему впадали в детство, тоже на свой – более практичный – манер поторапливали и понукали весну, сажая в миски овёс или пшеницу для будущих пасхальных крашенок, пристраивая на подоконниках всякую овощную рассаду – от помидорной до луковичной.

Сколько же в городах, посёлках, деревнях – по всей стране – осталось от тех десятилетий быстрорастущих, шумнолиственных тополей, будто в благодарность за доверие и внимание к ним озеленивших окраинные пустыри, унылые до тех пор дворы, придорожные неудобья. Обыкновенные в средних широтах, пирамидальные на юге, они поднимались вместе со всей страной, росли добровольным дополнением к грандиозному государственному плану создания системы лесозащитных полос.

Тот план давно уже лукаво осмеян, похерен, как и всё “сталинское”. Но сами-то полосы на тысячах гектаров, где успели их посадить ещё “до экологии”, шумят себе, зеленеют, заданную им службу исправно несут, охраняя посевы летом от знойных ветров, зимой накапливая снежные сугробы поближе к пахотным квадратам.

Впрочем, не хочу я ни у кого выжимать из глаз ностальгическую слезу. И с “клейких листочков” не для того начал, чтобы умилить чью-то отзывчивую душу.

Где уж там умиляться! Сегодня по всей России, по всему бывшему Союзу **тополь пропадает**. И вдобавок что-то нехорошее происходит с нашим зрением, в том числе с внутренним, духовным зрением, если мы этого колоссального по размерам пропадания, оказывается, в упор не видим. Ладно, не видят его лица, едущие в городах и за город по своим избранным, ласкающим глаз трассам. Но возьмём любое обыкновенное железнодорожное или автомобильное полотно, лучащееся от столичного мегаполиса во всех направлениях: где бы вы ни оказались, вы едете по бесконечному кладбищу усыхающих тополей. Высоченные деревья, саженные когда-то в линейку, в виде придорожных полос, как зловещие скопища скелетов, испуганно тянут к нам уродливые серо-бурые сучья. Мы щадим глаза и не смотрим на них, будто нас это несколько не касается. Мы дремлем или тарачимся на свои чайнворды, сканворды. Не мы же их сажали.

В салоне автобуса, ползущего в час пробок по Ленинградскому шоссе, я сказал пожилой женщине-соседке, когда она пожаловалась на преждевременную жару: “А вы на тополя посмотрите, что это с ними происходит?” Она смотрела несколько минут в большое боковое стекло и потом сказала: “А знаете, так, похоже, везде. Мы недавно были на озере Иссык-Куль. Так там ещё хуже: листву на тополях пожирает какая-то гусеница. И эти гусеницы как дождь сыплются с деревьев. Оч-чень неприятно!”

Прошлым летом на окраине ярославской деревни, заметив, что наш дворовый тополь, растущий из одного комля сразу тремя стволами, за весну и половину лета стремительно усох, мы спилили его. Сердцевина во всех

стволах оказалась тёмно-бурой, пропитанной какой-то гнилью. Колуну дерево не поддавалось. Это была тоска, а не колка. Дерево будто мстило за свою преждевременную гибель. Удары приходились во что-то вязкое, резинообразное. Даже звук получался тупой, противный. Я подождал полтора месяца, пусть чурки ещё высохнут. Но и со второго захода они не хотели колотиться. За час с лишним работы я бы тут нагромоздил целую горку сосновых или берёзовых поленьев. Тополь гнал из меня пот и остатки задора. Наконец я смирился и перенёс тяжёлые чурки поближе к бане, пусть не торчат перед глазами, как мрачный знак неудачи. А чтобы хоть как-то освободиться от навязчивости, подумал: дело, пожалуй, не в самом дереве, а в неизвестной пагубе, которая повсеместно накинута на тополь как таковой.

Не знаю, может, об этой пагубе, об этой неожиданной тополиной чуме, изводящей со свету ни в чём не повинное дерево, уже пишут в специальных лесоводческих изданиях? А наша официозная СМИ-система, охочая до всяких скандалов и страшилок, судьбы тополя что-то не замечает.

Между тем тополиный мор ворвался уже и в пределы дряблого мегаполиса. Из окна можайской электрички, на подъезде к синим клыкам Сити, чернеют рядом с жилыми кварталами целые рожицы мёртвых тополей. А если по всей Москве считать? В городе нет такого количества рабочих и техники, чтобы убрать их в режиме субботника или даже годового плана. Нужны сотни кранов, сотни самосвалов, тысячи опытных пильщиков и уборщиков.

Иногда кажется: кто-то эту пагубу осуществляет намеренно и повсеместно. Горожанам, понятно, досаждают в июне тополиный пух, и многие городские порубки тополей в последние годы определялись именно этим мелким, по сути, неудобством. Но всю-то подряд тополиную породу зачем было бы травить? Нет, злоумышленная травля недопустима. Тогда что же ещё? Загазованность? Но ведь тополя тысячами усыхают и вдоль железнодорожных путей.

Говорят ещё: причина – в повсеместной нехватке почвенных вод. Тополь оказался самым беззащитным, за ним обезвоживание на глазах подкрадывается к берёзе, елям, другим листовым и хвойным. При таком объяснении всё упирается в причины куда более общие. Они уже не первое десятилетие обсуждаются настолько часто и повсеместно, что все как-то незаметно привыкли, смирились: да, мы обречены, мы живём за чертой непоправимой экологической катастрофы всемирного масштаба.

Но покорность такого рода ничего, кроме самого примитивного цинизма, породить не может. Ведь если жерло всемирной катастрофы уже позади, если противодействовать ей бессмысленно, остаётся лишь признать полную неудачу пребывания человеческого рода на земле. Да, мы такие вот нехорошие, но раз переменить всё равно ничего уже нельзя, станем до конца толкаться в том же губительном направлении: выскребывать из земли все запасы угля, нефти, газа, гнать толстенные трубопроводы в Европу, в Китай, к чёрту на рога, производить всё новые и новые полчища автомобилей, авиалайнеров, танкеров, компьютеризировать и оснащать многокабельным телевидением каждую квартиру, каждый пень в лесу, до упаду таращиться на всевозможные шоу, парады звёзд, состязания смеховодов... Уйдём до конца в этот пленительный мир грёз и соблазнов! Какие ещё, к лешему, тополя? На крайний случай, приедут гастарбайтеры из Турции, из Вьетнама, из Африки и всё спилят, подметут, пустят на целлюлозу...

И вообще, оставьте ваши сантименты! Нас уже ничем не испугать. Наводнения? Тайфуны? Землетрясения? Пожары? Ну и пусть! Зато они хорошенько расчищают землю под всеобщее кладбище. Нам ничего уже не светит, никакого загробного воздаяния. Мы всё уже или почти всё своё получили сполна, осталось совсем немного...

Бедные Иван и Алёша Карамазовы! Бедный Фёдор Михайлович! Услышь они такие речи, такие самоубийственные воззвания, они бы, пожалуй, примолкли пристыжённо. По крайней мере, на какое-то время примолкли – со своими мировыми вопросами к Богу, к человеку, со своей жадной жить, страдать, надеяться на лучший исход для всех и каждого. Какими бы наивными ни виделись они из нашего наступившего нового тысячелетия, у них было одно великое, при всей его беззащитности, преимущество. Потому что у них были клейкие листочки.



## НАШ ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

*Я выхожу на зелёный откос и гляжу туда,  
где ещё совсем недавно было так много деревень,  
а теперь белеют одни берёзы.*

В. Белов. На Родине

Когда-то у Сергея Есенина вырвалось обречённое: “Я последний поэт деревни...” К счастью, неутешительное пророчество не быстро и не вполне сбылось. Потому что были и после него далеко не последние: Александр Твардовский был с Михаилом Исаковским... И Николай Рубцов с Николаем же Тряпкиным, и Фёдор Сухов был... Не вся враз замирала красота и правда крестьянского взгляда на мир в русской поэзии.

Но сегодня, прошу поверить, великой тревогой полнится для меня выведенное в заголовок определение. Потому что, отметив высокую семидесятипятилетнюю мету в жизни и писательской судьбе Василия Ивановича Белова, мы поневоле принуждены были разглядеть и твёрдо обозначенную им очевидную обречённость тысячелетнего крестьянского мироуклада Русской земли. Того мироуклада, что стал путеводным побуждением для писателя к созданию главных его книг.

Государство, хотя оно – от самых первых своих бодрых шагов в древности до отечественных войн XIX–XX веков – неустанно возобновлялось горячей кровью и духовной крепью крестьянства страны, то есть всегдашнего большинства её населения, сегодня в эту сторону и глядеть бы не глядело. А что стараться, если крестьяне в России теперь уже и не большинство?..

Не прямая ли измена своей истории, собственному родовому завету? И разве кого обманут предвыборные телешоу с выездами самого важного начальства на передовые агропредприятия, в белостенные коровники, где дорярки по случаю приодеты в халатики прямо от Версаке, духами благоухают прямо от Шанель... Не обманут камеры, потому что в эти же самые часы и дни – от Камчатки до Валдая, от Печоры до Кубани – заколачиваются двери десятков сельских школ, библиотек, детских садов, поджигаются или сносятся сотни ещё крепких изб, скупаются тысячи гектаров полей, лугов, лесов.

“Деревенщики”... Не правда ли, звучит как-то коряво, насмешливо, почти как “деревенщина”? Для молодого читателя, который уже не знает, о чём и о ком речь, поясню: именно такое полупрезрительное прозвище – “деревенщики” – ещё в 70-х литературные критики, а за ними и политики присвоили на страницах центральных газет и журналов Василию Белову и тем, кто встал на защиту достоинства крестьянской России – незадолго до него или в одну пору с ним, – Фёдору Абрамову, Евгению Носову, Валентину Распутину, Виктору Астафьеву, Василию Шукшину... Но из всех названных именно ему, Василию Белову, выпал жребий подводить черту под общей заботой и обидой. И не от того именно ему, что другие утомились, отошли к иным темам. Просто он дольше всех, упорней всех всматривался и вперёд и назад, и вековечный крестьянский мир являлся ему во всём своём громадном историческом развороте, так болезненно накрёнённом.

Именно он, Василий Белов, и дал напоследок имя этому сокровенному, безжалостно сокращаемому на глазах миру – “Лад”. Будто приговорил: вот что вы покусились порушить – великий лад земли своей, её вековечный духовный уклад, её сокровенный завет, её таинственный музыкальный ключ. Нет, дело не в частушках, даже не в былинах и сказках, не в самих избах, где всё это пелось и сказывалось, не в телегах и овинах, не в лапотках и квасе, над которыми вы так потешались. Вы посягнули на самую меру народного бытия, на извечную мерность дыхания народной жизни. Ибо “Лад” – это тысячелетней выделки умение-искусство ладить с природными, историческими непогодами и окрестными народами. Умение думать, говорить, петь и работать складно, а не кое-как. Коротким, но необыкновенно ёмким словом названа книга итоговых раздумий Василия Белова о красоте и философских глубинах крестьянского мирозерцания. “Лад” – не собрание рассказов, не повесть, не роман, здесь нет ни грана вымысла. Всего три действующих лица: русский крестьянин, крестьянка и... природа, в мудром ладу с которой они живут из века в век, из поколения в поколение. Так бы жить и впредь, никому не мешая, но, наоборот, щедро делясь с другими от своего небогатого, но

надёжного избытка. Нет. Не дали. Не дают. И, похоже, если дадут, то лишь на каких-то клочках музеефицированных загонов для "пейзан".

Проще всего во всём происшедшем винить три больших войны XX века, советскую власть с её коллективизацией, укрупнениями-разукрупнениями и прочими лихорадочными рывками, вплоть до мрачного признания всего русского крестьянского Севера "неперспективным". Но нельзя же до сих пор не замечать причин, куда более громких и грозных. Живущим ныне поколениям (не только в России, но и по всему свету) не враз открывается, что им досталось угодить в ненасытное жерло всеобщего урбанистического вождения. Всемирный Город всё грубее, даже наглее вытесняет всемирную Деревню с лица земли. Сегодня без преувеличения можно говорить о заговоре мегаполисов в планетарном масштабе. (Их мэры не зря же любят теперь собираться вместе, чтобы обсуждать свои блестящие успехи, делиться ещё более заманчивыми прожектами.) Планетарный Сверхгород, по сути, не знает пространственных границ, как не знает государственных, национальных, религиозных. Он готов распознаться по земле всё дальше и пуще, пожирая или подминая на своём пути сёла, деревни, старинные малые городки, реки, леса, континенты, воздух, траву, тишину... Там, где не объявились голубые сити и микрорайоны спальных, там обязательно шевелятся щупальца рекламных зазываний – в эти самые спальные для большой обслуги.

Бесславные руины древних цивилизаций свидетельствуют: такое, увы, уже не раз бывало. Человечество, перестав жить в ладу с природой, осознавать себя частью гармонического всеединства, алчно предпочтя аскетической сельской культуре приманки низменных наслаждений, зазывно предлагаемые очередной цивилизацией Сверхгородов, – такое человечество вновь обрекает себя на муки докультурного прозябания.

Никто не утверждает, что людскому сообществу предпочтительней вообще обходиться без городов как таковых. Нет, город нужен – как местный или в масштабах края, страны центр управления, сосредоточения духовного, культурно-исторического опыта. Но городу нужно знать своё место. Условие очень простое: из каждого городского окна желательно и целительно видеть окрестную землю, леса, вольные просторы. Возможность соблюдения таких мудрых пропорций хорошо известна и сейчас в разных пределах мира. Но всякий раз, когда правила начинают диктовать прожорливые банкополисы, когда для своих безумно растущих прихотей и похотей они в качестве свежей, но дешёвой обслуги принимаются сгонять с земли миллионные толпы вчерашних землепашцев, мир сотрясает очередная цивилизаторская судорога.

Надрывный, вынужденный уход крестьянина (беспаспортного колхозника) с земли Василий Белов описал уже в поступках своего героя Ивана Африкановича (повесть "Привычное дело", 1966). Как ни дорога ему родная деревня, а прокормить большую семью в тисках государственных ограничений он не в состоянии. И вот он благословляет подрастающих детей на исход. Куда угодно – в интернат, в училище, на фабрику, в няньки к состоятельным горожанам, лишь бы не знать той доли, что досталась ему. Жена Ивана Африкановича Катерина, колхозная доярка, ни свет ни заря спешащая в коровник, перед уходом кормит недавно родившегося, десятого по счёту, ребенка. "Катерина, в резиновых сапогах, ещё без фуфайки, скорёхонько покормила меньшого, – он сосал не жадно, не торопясь, и она соском чувствовала, как мальчонка изредка улыбается в темноте..." Вот эта улыбка младенца во тьме, угадываемая материнской грудью, улыбка доверия к миру и будущей жизни меня особенно ранит, когда перечитываю "Привычное дело". Мы видим, чем отвечает цивилизованный мир на эту улыбку.

Русское крестьянство, каким его застал и с сыновней любовью, с болью сердечной изобразил Василий Белов, сделало в минувшем веке, кажется, всё, чтобы избежать исчезновения в воронке всемирной урбанизации, остаться верным земле до конца. И всё же на последней странице своей эпической романной трилогии ("Кануны", "Год великого перелома", "Час шестой") автор "хроники русских судеб" вынужден скорбно признать: "История деревни смахивает на дурной сон. Трагична, безжалостна судьба буквально каждого крестьянского двора, каждой семьи. Из этого правила исключений не существует".

Чтобы сделать напоследок такой суровый вывод, мало быть крестьянским сыном, жить только оглядкой на родовое прошлое. Нужно бесстрашно смот-

реть вперёд. Да, народ больше, чем крестьянство. И он в состоянии пережить своё крестьянство. Но проживёт ли народ без универсальных умений, наработанных русским крестьянином за тысячи лет? Как выкопать обыкновенный колодец, когда погниют водопроводные трубы? Как взнуздать и запрячь лошадь, когда высосут до капли всю нефть с газом (а это будет уже через несколько десятилетий)? Да что там! Как отбить косу? Как вытесать топорщице? Как заточить двуручную пилу? Как сделать паз в бревне? Словом, как без самых простых, обиходных умений прожить на порожном месте, когда очередная цивилизация мегаполисов бесславно надорвётся? Как управимся на земле без древней науки жить при земле, без великой тайны насущного лада?

Вот, по сути, с какими вопросами обратился наш великий соотечественник, последний летописец крестьянской России, ко всем нам.

И ко всему миру тоже.

## К ПОРТРЕТУ УСПЕШНОГО

Да знаем мы и сами такой портрет, скажут мне. Каждый день они, успешные, где-нибудь торчат – на телеканалах, в журналах, газетах. У них беспрерывно берут интервью, за ними охотятся папарацци, всё известно про их вечеринки, банкеты, рауты, интрижки, скандалы... Они всех уже достали... Ну, хотя бы этот, например, портрет: седая шевелюра, весь лучится самодовольством, то и дело улыбается, чтобы всякий раз ослепить вас своими жемчужными вставными резцами...

Нет же, отвечаю. Разве это – успешный? Да он давно уже во всём преуспел. Когда-то и он был успешным, а теперь? Очень он несвеж для такого ампула.

Потому что успешные – это которые свеженькие.

Вчера ещё они были так – ни то ни сё, а нынче, поглядите, будто вдруг заново народились. Всё-то на них чистенькое, с иголочки, ни одна складочка не топорщится. На умной головке волосик к волосику, так и хочется её погладить – за отличное прилежание, за высокую успеваемость, за аккуратность, понятливость, за уверенную в себе умеренность. Ни одна мрачная дума не взбурлит гладь невинного лба. Щёчки так и пышут, потому что радость-то, никуда её не спрячешь, она изнутри распирает. А глазоньки, ишь! Так и читаешь в них лёгкую ошалелость: а ведь успел! и не чаял даже, а успел!

Словом, впечатление таково: только что получена золотая медаль круглого отличника, и вдруг светлым веером распахнулись перед нашим успешным многие-многие поприща. Хочешь быть химиком? – пожалуйста! Хочешь в юристы, несмотря на то, что этих ребят и так переплод? – но для тебя изволь! Нравится тебе решать проблемы демографии? – так решай же, и пусть у иных не получалось, а у тебя ещё как получится! Хочешь компьютеризировать все-все школы – да кто же кроме тебя управится, действуй! Надумал поднять “качество жизни”, сделать её для милых сограждан вполне комфортной, то есть, чтобы у каждого селянина наконец-то появилась в доме газовая конфорка? – что ж, золотая рыбка удачи поможет тебе и в этой тонкой задумке. Словом, какую стезю ни избери, будешь успешен и утешен. И даже если захочешь единым махом, за раз, оптом все эти и ещё многие иные поприща освоить, то и тут, прямо как в песенке, пособит тебе “госпожа Удача”.

Если скажут мне, что этот портрет современного успешного молодого человека получается не вполне точным, что черты его как-то размыты и даже абстрактны, спорить не стану. Ведь и сам по себе успех – явление мимолётное. Сегодня ты его наблюдаешь, а завтра, глядишь, образ уже пожух, поблек. Куда девалась свежесть? Где прыть и дурашливость в телячьем взоре?

Разве не бывает так то и дело? А почему? Может, достаточно оказалось нашему успешному одной бессонной ночи, одного душераздирающего стона восставшей невесты из каких закоулков совести: Господи, да зачем же это я? Сидел бы себе тихо, никуда не рыпаясь. Нет, угораздило высунуться всем напогляд. Захотелось замелькать сразу на всех экранах, принялся выдавливать из себя какие-то умные, а по сути-то пустопорожные словеса, наобещал с три короба, вертел, будто кукла, глазками перед камерами, бездарно пыжился кого-то укорять, винить в недостатках... А сам-то хоть что сделал, хоть малую какую малость? Хоть одно злодеяние разоблачил? Хоть одного олигарха уса-

дил на скамью подсудимых? А мне уже приписывают великие свершения, вот-вот начнут портреты распечатывать и развешивать по всем кабинетам, учреждениям, парикмахерским, прачечным, котельным, компьютерным классам, родильным домам... А что, если надо мной уже хихикают те же телевизионщики? И любую беду, любой недодел, любой чей-то обман будут все валить на одного меня. Какой срам! И куда так заспешил? И куда теперь спрятаться? За какой шапкой-невидимкой утаиться?

Да, в самом слове "успех" – что-то есть зыбкое, эфемерное, не совсем, значит, надёжное, не вполне достоверное. Успел – не успел... Спех, спешка, наспех... За фактом успеха не просматривается логика. Он, по сути, не заработан. Ему явно не хватает обоснований заслуженности. Успех – проявление случая. "Попал в случай" – как говаривали в XVIII веке. "Баловень судьбы" – тоже из опыта тех времён. Что-то, значит, ласково прошуршало и просыпалось сверху. Можно ли доверять таким лёгким шумам и звукам?

Однажды сказано было ещё и так:

*Всё, что мы совершаем, – малость.  
Нас унижает наш успех.  
Необычайность, небывалость  
Зовёт борцов совсем не тех.*

Вот что: к событиям масштаба необычайного и небывалого, а именно таких событий заждались у нас люди, с потугами успешных лучше не подступаться. Тут нужны мужи взрослые, закаленные в изнурительных трудах. Так что свои "штрихи к портрету" я, с оглядкой на мудрое прорицание-предостережение поэта Рильке, считаю бесполезным предложить именно в эти дни.